

АРСЕНИЙ РУТЬКО

И
...
Время
блосать
Калачи

Арсений Иванович Рутько

...И время бросать камни

М., «Советский писатель», 1986, 368 стр.

План выпуска 1986 г. № 129

Редактор *З. В. Одинцова*

Худож. редактор *Е. И. Балашева*

Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*

Корректор *Т. В. Малышева*

ИБ № 5546

Сдано в набор 23.09.85. Подписано к печати 11.07.86.
А 03461. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Литератур-
ная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 19,32.
Уч.-изд. л. 20,73. Тираж 100 000 экз. (2-й завод 75 001—
100 000 экз.) Заказ № 1397. Цена в пер. № 7 1 р. 60 к.,
в обл. 1 р. 30 к. Ордена Дружбы народов издательство
«Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровско-
го 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинград-
ская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государ-
ственном комитете СССР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли 190000, Ленинград, центр,
Красная ул., 1/3.

АРСЕНИЙ РУТЬКО

И
...
Время
Бросать
Камни

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

ББК 84 Р7
Р 90

Художник Анатолий Мешлов

Р $\frac{4702010200-292}{083(02)-86}$ 129-86

© Издательство
«Советский писатель», 1986 г.

...
Время
Бросать
Камни



1. Последняя школьная весна

Произошло это ранней весной, когда воздух так пронзительно и нежно пахнет тающим снегом, когда со стеклянным дребезгом рассыпаются по асфальту голубоватые осколки сосулек.

Лед на Москве-реке вздулся и потемнел, легким паром дымились полыньи. Ветви деревьев набухали тяжестью почек, все щедрее становилось солнышко; взъерошенные, отошавшие за зиму воробьи радостно суматошились и гомонили на солнцепеке.

Воскресенье выдалось совершенно безоблачное, и город был до того напоен, до того пронизан теплом и светом, что Олег не мог усидеть дома. Отложив недочитанный номер «Науки и жизни», натянул берет, надел коричневую замшевую курточку и вышел на улицу. Улыбаясь неведомо чему и шурясь на словно расплавленное в небе солнце, с минуту топтался у подъезда, вспоминая пришвинскую «весну света», — здорово умел сказать старик.

Чуть в стороне, но почти рядом с подъездом, пригнулись вплотную к бордюрным камням голубенькие «Жигули» — низ машины и бамперы изрядно заляпаны грязью. Олег подошел, коснулся ладонью нагретого металла. Отец вчера твердо пообещал: «Потерпи, сын, еще чуть! Окончишь школу, оформим тебе права — и сядешь в «жигуленок», как на трон. Золотую медаль с экзаменов принесешь, и считай — твой! Собственный!»

Моторку по каналу и Пестовскому водохранилищу Олег гонял с позапрошлого года: там простор и приволье, беспечного ротозея или какую-нибудь старушеницу не задавишь, на столб не налетишь. И никакой тебе стоглазой ГАИ, редко-редко здесь промчится по каналу осводовская дежурка. А в городе на машине, само собой, куда строже! В этом отец прав.

Не думая, куда и зачем идет, Олег прошел по Комсомольскому проспекту, где с детства знал каждый закоулок. Спустился на набережную и постоял у парапета, глядя на просыпающуюся реку, на голый, чуть задернутый фиолетовой дымкой Нескучный сад на той стороне. За кронами деревьев темнел верх кружевного полукруга «колеса обозрения», над ним летали, перечеркивая синеву, птицы.

На душе у Олега было удивительно светло и празднично, и жизнь впереди представлялась такой же незапятнанно ясной, как этот весенний день. Но непонятно почему именно вот в такие дни откуда-то подкрадывалась тень странной, необъяснимой тревоги. И, как всегда, при этом вспоминался Пушкин: «Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою...»

Олег поймал себя на высокопарной мысли и иронически усмехнулся: «Тобою, тобою! Да ведь нет же никого, нет кругом ни одной девчонки, на которую, как выражаются ребята, хотелось бы «положить глаз». Ну есть, конечно, хорошенькие, смазливые, есть и по-настоящему красивые, а поговоришь с ней раз-другой — и красота как будто тает, исчезает. И становится попросту скучно... Правда, в прошлом году перевели в их школу Юлю Теплову, поначалу будто потянуло к ней. И красива той особенной, броской красотой, которая сразу останавливает взгляд, и умна, и начитанна, рассуждать может о чем угодно, вплоть до кибернетики! Но позднее ощутилось и нечто отстраняющее, — слишком надменна по отношению к окружающим и цинична: не зря же прозвали «язвой» и «высокомеркой».

Олег бродил, присаживался отдохнуть на обогретые солнцем камни парапета и думал о будущем. Он еще не решил, кем станет в жизни, в какой вуз попытается поступить после школы. Тянуло ко многому, все представлялось заманчивым и интересным.

Алла Владимировна как-то сказала, что у него есть, кажется, интерес к ее предмету, а может быть, даже талант, что именно литературе он должен посвятить свою жизнь. Олег тогда с деланно иронической усмешкой возразил вычитанными у кого-то словами «А достаточно ли я страдал, чтобы стать писателем?» Старенькая учительница посмотрела на него с удивлением, а он, чуть рисуясь, добавил: «Ведь утверждают, Алла Владимировна, что литератор должен пройти огонь и воду и какие-то там медные трубы, да? Писателю необходим

огромный жизненный опыт, а у меня его пока, увы, кот наплакал. Так что — темна вода!» Алла Владимировна в ответ с сожалением пожала плечами, но с тех пор присматривалась к Олегу с еще большим вниманием.

Да, он пока не был ни в чем уверен, его манила к себе и наука с ее необъятными и все расширяющимися в век НТР возможностями; и мечталось поглядеть на голубой шарик Земли из космических далей; и звало бороздить океанские широты с такими отчаянными парнями, как Аллен Жербо, Аллен Бомбар или Тур Хейердал; и втайне томила зависть к мастерству и славе шахматных корифеев: Алехина, Капабланки, Таля, Карпова... Трудно решить, что выбрать, чему отдать предпочтение.

По набережной у Лужников прошли мимо три нарядные девчонки в весенних, одинаково голубых плащах, игриво посмеиваясь и поглядывая в сторону Олега. Одна из них нарочно громко, чтобы он услышал, сказала:

— Ничего, красивый ребеночек, девочки, а?!

Но не повернулся и не замедлил шага. Ему и в школе порядком надоели ласковые, ждущие ответной улыбки девчачьи взгляды, хотя, что тут скрывать, приятно щекотали самолюбие.

Возвращаясь, почти дойдя до дома, где родился и жил, неожиданно услышал торопливый окрик:

— Олечка!

Остановился без особенной охоты — не хотелось ни встречаться ни с кем, ни говорить. Но его бегом догоняли Наденька Княжич и Витька Дротиков, по-школьному — Тюлень. Надя задохнулась от бега, милые ореховые глаза из-под иссиня-черной челочки смотрели на Олега с обычной доверчивостью, а Витька выглядел растерянным и озабоченным. Как и всегда, без головного убора — растрепанные светлые, желтоватые волосы топырились на макушке петушиным гребешком.

— Привет, Олечка, приветик! — повторяла Надя, сияя глазами. — Как хорошо, что догнали! Ты домой?

Олег знал, что Надя еще с седьмого класса влюблена в него, — курносенькую Крохотулю выдавали глаза, напряженная звонкость голоса, когда обращалась к нему, что-то еще во всем облике, трудно определяемое словами. И сейчас, в десятом, ее влюбленность ни для кого не была тайной.

— А что стряслось? — спросил Олег, всматриваясь в осунувшееся лицо Тюленя. — Опять с бабой Сашей, да?

Витька молча кивнул, а Надя принялась рассказывать:

— Ты понимаешь, пришла я из магазина, принесла бабе Саше «Казбек», творог. И вижу — она откинулась на спинку в своем кресле-вездеходе и рот раскрыла как рыба. И глаза измученные, сразу видно — плохо. Витя у себя в комнате сидел, мы с ним — к телефону. Вызвали «скорую», спасибо — сразу приехала. Ну, уколы, кислородные подушки. Теперь спит, а мы с Витей в дежурную аптеку бегали. Сегодня же воскресенье, наша закрыта. Я побоялась отпустить Витю одного. Вдруг под машину угодит, только и не хватало! Он же такой рассеянный!

— Перестань болтать, — хмуро попросил Тюлень.

И лишь сейчас Олег понял, что громоздится у товарища за спиной: кислородная подушка. Значит, действительно Александре Евгеньевне всерьез худо. Эту седую, мудрую и удивительно добрую старую большевичку, бывшую политкаторжанку, Олег хорошо знал: когда учились в седьмом, он дружил с Тюленем и бывал у Дротиковых.

А Надя продолжала:

— Ей же вчера восемьдесят пять исполнилось! Я заглянула вечером, у них — битком. Седые деды и бабки, все с орденами. Дым коромыслом! И кругом цветы, цветы, будто в оранжерею заглянула. Я не вошла, в щелку смотрела. А сегодня вот. . .

— Может, денег нужно, Витька? — спросил Олег, не зная, чем помочь. — Я слетаю на вокзал, возьму у матери.

Тюлень отрицательно повел из стороны в сторону головой.

— Спасибо, Олег. У нас есть. — Он быстрым взглядом окинул Надю. — Ты извини, Крохотуля, я побегу. Вдруг проснулась, а меня нет.

Надя нерешительно смотрела на Олега, возможно надеясь, что позовет с собой. Но тот молчал, сосредоточенно следя за тем, как рука Тюленя ощупывает в кармане аптечные коробочки и пузырьки.

— И я с тобой, Витя! — решила Надя, запахивая плащ. — Тебе одному не справиться, если ей опять станет плохо. До завтра, Олежка!

Они заторопились, а Олег хмуро, испытывая что-то вроде угрызений совести, пошагал дальше. Хотя... ну что он может сделать? Баба Саша прожила восемьдесят пять, дай бог, как выражается мать, всякому столь-

ко! Добролюбов и Лермонтов до тридцати не дотягивали. Да и вообще, если оглянуться на историю...

Немного не дойдя до своего дома, Олег остановился. Возле их «жигуленка» суетился Петрушкин, работающий из отцовского магазина, — у его ног дымилось горячим паром ведро. Жилистые руки с завидной сноровкой терли ветошкой забрызганный грязью кузов. Отмытые части машины зеркально повторяли солнце, небо, окна домов.

Поравнявшись с машиной, Олег остановился, его силуэт отразился в мокром лакированном металле. Петрушкин вскинул голову.

— А, царевич-наследничек! — Линяло-синие глазки источали благодушие и довольство. — А Петрушкин, как видишь, в трудах. Мяса-то в магазин подкинули всего ничего, к обеду разлетелось. И больше вроде бы привоза нынче не предвидится. Константин Демьяныч и просит: выручай, Петрушкин! В гости вечером ехать, а стальной конек не чищен, не мыт! Ну, а Петрушкин что? Он безотказный, на все руки!

Олег часто не без интереса прислушивался к болтовне словоохотливого подручного из отцовского магазина — тот был вовсе не глуп, как о нем говорили многие, и даже начитан. Любил, скажем, пуская слезу, декламировать Есенина: «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым...» И называл поэта Сережкой, словно закадычного, сердечного друга. Изредка ездил на Ваганьковское.

— А ведь и я могу неплохо стишки складывать, — похвалился он как-то Олегу. — Есть и во мне та золотая жила, как в Сережке была. На досуге зачитаю, увидишь!

Петрушкин вызывал у Олега непонятное любопытство: чудилось, что у полусвихнувшегося человека есть за душой какая-то своя, пусть и не очень ясная, правда. В нем, например, не ощущалось ни зависти к преуспевающим, ни жадности, ни тоски по утерянному. Детей у него не было, жена много лет назад ушла к другому, но он не жалел о ней, отмахивался от воспоминаний бездумно и легко. Любил пофилософствовать, порассуждать о жизни.

Вот и сейчас принялся поучать Олега.

— Все, наследничек, на сей грешной земле трын-трава, — изрекал он, поднимая над головой искривленный палец. — Жить нужно просто, вон, скажем, как голубь-

птица живет. Натолкал зоб поплотнее и гугулькай себе в удовольствие, пока снова жрать не захочется. Всех денег все одно никакому жадюге не захватить, как бы ни тужился. Это я давно усек, царевич! А жадность, скажу тебе, самое злое начало в человеке, вроде рака души. И такому, учти, от жадности самому же тошнее всех! Потому что сразу одолевает страх: как бы чего не сперли, не отняли. Так? По нынешним-то порядкам тысячные суммищи в сберкассе не определишь, потому там — верный крючок для ОБХСС: откуда да как? Хотя, по закону если, и объявлено про тайну вкладов. Значит, в кубышку совать и трястись над ней скупердьям рыцарем? Но ведь ежели эдак, то поживешь-поживешь и взвоешь? Верно, а?!

Олег не ответил, и Петрушкин снова принялся за мытье машины.

— А помните, Петрушкин,— сказал Олег,— как-то вы обещали мне прочитать ваши стихи?

Петрушкин выпрямился, лицо стало торжественно-серьезным.

— А заходи как-нибудь, почитаю. Дом-то мой знаешь?

— Знаю.

— И все дела! И убедишься, какой в Петрушкине талант, в суглинок закопанный! Эх, ежели бы у меня наверху рука была!

Олег буркнул в ответ неразборчивое и поднялся на третий этаж. Тихо. На кухне — написанная еще утром записка: «Олежка! Не лентяйничай, не ешь холодное, разогрей. Всё на плите. На перерыв приеду в четыре, как всегда. Ма».

Раньше у них работала приходящая «домрабыня», краснощекая и смешливая Нюша, но мать то ли уличила, то ли заподозрила ее в жульничестве при рыночных закупках и прогнала. И брать постороннюю женщину для помощи по хозяйству больше не стала. «Обязательно что-нибудь стащат, Костик, дом-то у нас — полная чашка! — возражала мужу, когда тот настаивал, чтобы нашла помощницу. — Да ты и сам не терпишь в доме чужих».

Есть Олегу не хотелось, прошел в свою «берлогу». Покой и уют. Полки дорогих ему книг, любимые вещи: проигрыватель с стопкой модных дисков, японский транзистор, магнитофон. В уголке возле двери — стол с тисками и набором мелкого слесарного инструмента:

так приятно починить что-то собственными руками, почувствовать власть над хитроумным механизмом. «И охота тебе, Олежка, пачкаться? — удивлялась иногда мать. — Ну сколько тебе на ремонт нужно?» Но он отмахивался: «Ничего ты не понимаешь, ма!»

Вернулся в столовую, включил телевизор и, поймав «Клуб кинопутешественников», сел. Самая любимая передача. Колесишь по миру, несешься по кипящим порожистым рекам на плоте или в уютной лодчонке, поднимаешься на ледяные заоблачные вершины, пересекаешь пустыни и океаны. И как раньше люди без телевизора жили?

Сегодня показывали тихоокеанские острова — полуголые таитянки кормили грудью глазастых младенцев, плясали и кривлялись страшновато разрисованные колдуны, гнулись под ветром зеленые веера пальм, бил о скалы прибой.

Кончилась передача; сдержанно улыбаясь, попросился со зрителями Юрий Сенкевич. Олег выключил телевизор. Бесцельно прошелся по квартире, постоял в спальне стариков перед трельяжем матери, рассматривая свое отражение. Вспомнилось недавнее: «Ничего ребеночек, девчата?» А что?.. Вроде бы, Олежка, ты и правда неплох. Каштановые, по-отцовски вьющиеся волосы над чистым выпуклым лбом, синевато-серые глаза, резко и красиво очерченные губы с ямочками по углам. Ничего!

В передней мелодично пропел звонок. Анфиса Николаевна тысячу раз заклинала сына открывать дверь лишь через цепочку. «Ты, Олеженька, позабыл про историю с мосгазовским монтером, который убил ребенка и унес телевизор? А у нас таким бандюгам есть чем поживиться!» Но гордость не позволяла Олегу трусить, и на звонки он всегда открывал сразу.

За порогом стоял улыбающийся, поблескивающий выцветшими глазками Петрушкин.

— А это, царевич, мы! — оповестил он с таким видом, словно был убежден, что его появление доставит Олегу несказанную радость.

— Да перестаньте вы обзывать меня дурацким прозвищем! — неожиданно рассердился Олег. — У меня имя есть!

Петрушкин, ухмыляясь, прижал руки к груди.

— Так я же без обиды, миленький! От полной души! Да и как не царевич, ежели папаня у тебя, достоверно

сказать, горная величина! Это вы, воробыши, силу настоящую молодыми мозгами ценить не можете, сути жизни не понимаете!

— Что нужно? — хмуро спросил Олег. — Отца нет. Петрушкин сокрушенно покачал головой.

— Ай-яй-яй! Пропал, значит, Володька Петрушкин! Сгорел начисто! И даже пепел захоронить или развеять некому. Как же так? Ведь Демьяныч-то пятерочку посулил за машинную купель, за стопроцентное то есть омовение. А Петрушкин вовсе пустой нынче. Как же быть, наследничек?

Возможно, Олег посоветовал бы непутевому работяге зайти попозже, но тут снизу донесся голос Анфисы Николаевны, она о чем-то — не разобрать — разговаривала с лифтершей. И Петрушкин с просиявшим лицом жадно уставился глазами на решетку лифта. Олег, не закрывая двери, ждал. Через полминуты кабина остановилась на этаже, и Анфиса Николаевна, распахнув дверцу, с тревогой оглядела Петрушкина.

— Что случилось?

— Да всё путем, Николавна, все путем! Не беспокойся! Но тут, видишь, просьба от Демьяныча к Петрушкину поступила. Машину вашу привести в первобытную прелесть, вылизать до последней пылинки. И за сей самоотверженный труд обещана вышеозначенному Петрушкину пятишня. А владетельного нету! И, можно сказать, горит Петрушкин синим пламенем! Стоит на краю гибели.

Анфиса Николаевна рылась в сумочке, а Олег искоса наблюдал за ней. Его нередко удивляла снисходительность матери к Петрушкину, — ненавидевшая забулдыг и попрошаек, властная и решительная с другими, она относилась к опустившемуся работяге добро и мягко. Олег не раз наблюдал это и поведения Анфисы Николаевны не мог ни понять, ни объяснить. Может, угадывала в Петрушкине загубленный несчастными обстоятельствами талант? Да нет, вряд ли.

Сейчас Анфиса Николаевна протянула Петрушкину две трешницы:

— Возьми!

— Искренне! От полной души, Николавна! — поклонился Петрушкин. — Пятерка — такса, закон тайги, уважаемая! И ваше железное дитятко предстанет перед человечеством в девственной чистоте!

— Видела! Всё? До свиданья!

Захлопнув дверь, Анфиса Николаевна мельком оглядела себя в зеркале, швырнула на столик плащ и шляпу. И следом за Олегом прошла в его комнату.

— Что, сынок? Чем мы озабочены? — Она всегда с первого взгляда угадывала настроение своего любимца. — Уж не схватил ли вчера мой красавчик троечку?

Олег поморщился

— Ты же знаешь, ма, исключено. Просто как подумаю — завтра опять в школу, смотреть ни на что не хочется.

Анфиса Николаевна обняла сына; осторожно, чтобы не испачкать помадой, поцеловала в щеку.

— Ну-ну, Олеженька! Недолго осталось. Ясное дело, с твоими способностями сидеть рядом со всякими балбесами радости мало. Я все понимаю, милый! Но скоро — институт, там-то и развернешься, дорогой! Мне и Нинель, и Полина Эрнестовна не раз говорили, что у тебя редкая одаренность. А пока потерпи, дружок. Всем нам в свое время приходилось терпеть. И еще как, Олеженька! Сейчас даже и вспомнить страшно... Папа не звонил?

— При мне нет.

Олег не любил, когда мать нежничала с ним. Он боялся признаваться в том даже самому себе, но в глубине души нередко осуждал ее за неумеренную жадность к красивым и дорогим вещам, за подчеркнутую любезность с теми, кого она считала полезными, нужными, за вульгарность, которая прорывалась в манерах и речи, когда была расстроена или огорчена. В отношениях же с «ненужниками» — так выражался Константин Демьяныч — Олег нередко наблюдал непреклонность и жесткость матери, не желавшей поступаться и крохой собственного добра. Интересно, почему она благоволит к Петрушкину, ведь не может не понимать, что этот опустившийся человек собой представляет?

Ласково ворча на сына, Анфиса Николаевна разогрела на кухне обед и позвала Олега. Задумчиво ковыряя вилкой котлету, глядя в тарелку, он нерешительно заговорил.

— Ты, пожалуйста, извини, ма... но чего-то я все-таки не понимаю. Вот к Петрушкину ты хорошо относишься, а к другим...

И замолчал, не зная, как выразить свою не очень-то приятную мысль. Присевшая напротив сына Анфиса Николаевна снисходительно улыбнулась.

— Ну, Петрушкин для меня всегда готов сделать что угодно. И я ему за это плачу, вот и все. А другие... Разве на всех напасешься!

Она замолчала, и стало слышно, как гомонили на подоконнике ошалевшие от весеннего солнца воробьи.

— Ах, Олежка, Олеженька! Ты иногда странно рассуждаешь, сынок. И это, наверно, потому, что горя в жизни настоящего не видел. И вообще что ваше поколение видело, что знает? — Анфиса Николаевна заговорила непривычно тихо. — Да, у вас с колыбели есть все, чего душа ни попросит, сливочные реки и шоколадные берега! Ты же никогда и ни в чем не знал отказа. Разве неправда? А мое-то «счастливое» детство на картофельной кожуре выросло, кусок белого хлеба только во сне и видела. Война-то какая страшная была, никакими словами не описать. Ты ее по книжкам да по кино знаешь, там многое геройством приукрашено. А на самом деле она — не дай бог и в черном сне увидеть! — Анфиса Николаевна, казалось, готова была расплакаться от воспоминаний, а может быть, и от почудившейся ей неблагодарности сына. — Да и после войны сколько лет в нужде, впроголодь. А теперь — ну нажили, ну дом — полная чашка, но ведь всем не помогаешься. Олежка! Сколько я за прошлые годы взаймы пораздавала, хоть бы копеечку кто без напоминания вернул!.. И еще то пойми: наш с Костиком век не больно долог, нам по гроб жизни хватит. Для тебя стараемся, всё — тебе!

Олег отодвинул тарелку, сердито посмотрел на мать.

— Так я же не калека, ма! И силы есть, и голова не мякиной набита. Мне-то зачем все это? — И, вставая, кивнул головой на дверь в столовую — за ней поблескивал хрусталем румынский сервант.

— Нет, уж ты посиди со мной, сынок! — остановила Анфиса Николаевна. — День у меня нынче с грустинкой выдался. И прошлое вспоминается, словно вчера было. Земляков своих, сенгилеевских, встретила, душу они мне разбередили. Да ты сядь, сядь!

Олег неохотно сел, а Анфиса Николаевна, подперев ладонями щеки, на минутку замолчала. Он подумал, что никогда не видел у матери такого горестного выражения лица.

— Ты вот свою бабушку, мамку то есть мою, вовсе не помнишь, ты ее только на фотокарточках и видел. А она человек широкой души была, ее у нас, на родине

на моей, в Сенгилее, чуть не за святую, а то за юродивую почитали...

Олег и раньше замечал, что стоит матери разволноваться — и в ее привычную городскую речь врываются странные деревенские интонации и слова. Должно быть, связанные с детством, они помогают ей полнее выразить охватившие ее чувства.

Машинально переставляя посуду на столе, Анфиса Николаевна снова заговорила, как будто и не обращаясь к сыну, а просто думая вслух:

— Так о чем это я хотела? Ах да... Той весной, в сорок первом, мы с мамкой погостить к ее сестре поехали. В Белоруссию. И застряли. В самом аду, под немцем, оказались. Всякую траву с голодухи ели, дубовую кору, опилки липовые. Солому полугнилую распаривали да жевали. Опухали и дохли, словно мухи осенью. Будто вчера случилось, помню, как мамка помирала. Одни кости, кожа серая, шершавая, а глаза по блюдечку, и такая в них горечь — смотреть невозможно. Все про Волгу, про Сенгилей вспоминала, там мы богато, сытно жили. Бывало, шепчет: «Хоть бы еще разок хлебушка досыта поест, а там и помереть!» А сама каждую последнюю крошку — мне, мне! — Анфиса Николаевна судорожно всхлипнула. — А ты меня попрекаешь! Чем? За что? — Вытерев глаза, глянула в помрачневшее лицо сына и, испугавшись, принужденно рассмеялась. — И ради чего, скажи на милость, я этакую громкую панихиду развела?! Ты не слушай, Олежка, не принимай к сердцу! Ведь все, говорю, что нажито, все тебе, чтобы никогда нужда тебя ни волоском не тронула. Ты же кровиночка наша единственная. Хотя и нам с Костином после всех страстей и голодухи не грех в довольстве пожить!

Олег молчал, не решаясь посмотреть матери в глаза, так было жалко — и не первый раз! — за пережитые ею несчастья. Когда-то, вспоминая прошлое, она расплакалась при нем, и Олег дал себе слово ничем и никогда не обижать ее, не расстраивать. И даже жизненную ее хватку пытался если не оправдать, то объяснить: видно, призрак тех давних тяжелых лет неотступно стоит за спиной.

Убрав в раковину посуду, вытерев стол, Анфиса Николаевна снова села против Олега, и опять зазвучали в ее голосе непривычные горестные нотки.

— Ты послушай, сынок, что нынче меня из души вышибло... Часа два назад у себя в буфете на вокзале земляков увидела, сенгилеевских. Пришли, поесть у меня заказали. Солидные такие дядечки, портфели у обоих громадные, словно сундуки кожаные. Ну, мое дело простое: подать что заказано. Сидят, значит, закусывают. И вдруг слышу: Сенгилей! Слово-то для меня, Олечка, самое дорогое на весь мой век. Родина! Слушаю во все уши: о чем они? Оказывается, инженерами на автозаводе в Тольятти работают, куда-то вграничную командировку едут. И осмелилась я, спрашиваю: кто же вы, дескать, будете? И представь — бывшие наши соседи по Сенгилею, шабры, если выразиться по деревенски. Никешкины их фамилия, братья. Услышала я и смотрю, смотрю во все глаза. Даже не верится, что когда-то вместе босиком по деревне бегали. Да неужто, думаю, вот этот солидный очкарик с бородкой — тот самый Гринька, что меня крапивою по голым ножонкам сек? А второй, с орденом, выходит — Васятка? Да не может быть!.. — Анфиса Николаевна судорожно вздохнула. — И вот, Олечка, разволновалась я — прямо слов нет. Все пережитое нахлынуло, налетело, опрокинулось на меня. Ну, а они — ничего. Но говорят: «И мы бы тебя, Фиса, нипочем не узнали, такая ты дородная да холеная. Прямо королева! Приезжала бы, — говорят, — погостить в родные края, нынче там большущие города выросли! И Волгу не узнать — море!» На поезд торопились, ушли скоро... Ну, а у меня точно опустело вовсе в душе, сынок. И так жалко себя стало! Неужто, думаю, только затем на свет родилась, чтобы другим прислуживать? Про прочих наших сенгилеевских мальчишек и девчонок рассказывали. Подумай, как высоко взлетели люди — ученые, инженеры, летчики, два кандидата наук, один даже в академики выбился... А я, Олечка? — Анфиса Николаевна вскинула на сына наполненные слезами глаза. — Неужто я хуже всех? Неужто так и не смогла бы повыше вокзального буфета подняться?!

— А почему не училась, мама? — осторожно спросил Олег.

— Да когда же было учиться, сынок? Все работа, работа, работа! Хлеба-то кусок каждый день нужен. А потом — Костик, ты, какая уж тут учеба?!

Олег молчал, катал по клеенке шарик хлебного мякиша. Откровенно говоря, он и сам иногда стыдился профессии матери — буфетчица при вокзальном ресто-